Лука Кузнецов

П О Е З Д

/Из цикла "Маленькие рассказы о любви"/

Длинные черные волосы. Она сидит у окна, отдыхает, ещё не забросив чемодан наверх, и я сразу мысленно обращаюсь к ней на "ты". Ты сидишь у окна и я забрасываю твой чемодан наверх.

Как и следовало ожидать, в купе появляются и другие пассажиры. Они вежливы и говорят "здравствуйте", но я уже нездоров. Слишком длинны твои волосы и длинна дорога — день и ночь, и ещё полдня. Энтузиазм путешественника улетучивается, появляется чувство неизбежности. Понимаю, что журналов хватит до обеда. Их придется беречь, как воду в пустыне, смаковать даже передовые статьи... И, оттягивая начало чтения, я изучаю третьего пассажира: волосы у него светлые, лицо румяное, глаза липкие, значок говорит о добропорядочности. Он тоже едет отдыхать, он тоже устал от своей работы, и мы все вместе будем пить чай в одно и то же время, когда подадут, и будем ждать вместе в очереди у умывальника. Я не обращаюсь мысленно к этому человеку на "ты", я называю его: "Он". Просто "Он", он же "Третий", он же "Блондин", он же "Румяный".

Словно начинается пьеса на сцене... Вот-вот на смену покинувшей купе массовке провожавших явится четвертое действующее лицо, ещё одна неповторимая индивидуальность и все мы будем взаимодействовать в замкнутом пространстве в течение почти двух дней. Боже, за что... Минус два дня из жизни, бесполезных дня... Эту плату за отпуск надо тоже приплюсовать к стоимости билета, аренды белья и чаю.

Тисненая обивка стенки купе перед носом. Неповторимая железнодорожная тоска заполняет тело, шея скоро онемееет от казенной подушки, а т е б я — тебя я уже почти ненавижу — за твои длинные волосы, за свое журнально-полочное убожество, за безысходность тридцати с лишним часов, за эту встречу... Но где, черт возьми, ч е т в е р т ы й, почему не начинается

пьеса, почему пустует одна из нижних полок, ведь поезд идет уже минут двадцать!

... Хорошая вещь сон. Просыпаюсь, понимая, что уснул и проспал целый час незаметно для себя, что теперь всё гораздо легче и спокойнее. Покачивается вагон, шипит, бархатно погромыживает — всё, как положено, всё на своих местах. А внизу — внизу началась пьеса, совсем теперь ненужная, и сидит на нижней полке "Четвертый", он же "Опоздавший", он же "Запорожец", он же "Бывалый", он же "Седой". А ты — ты спи, ты лежи, как лежишь, и не слушай, что они говорят внизу — про то, какой раньше был порядок, а теперь порядка нет, а раньше каждый знал свое место, а кто не знал — тех отправляли в другое место, да, да, на курорт, в переплавку, в перековку, на шлифовку, на доводку, на свалку истории...

Эй, эй, штабс-капитан, выньте же браунинг и пальните пару раз вниз, прямо сквозь полку! Пусть не будет вам, капитан, скучно одному на свалке истории! Ах, это всё мечты, миражи, фантазии, нет у меня ни погон, ни выправки, ни браунинга, ни чуждого происхождения... Есть лишь перспективный возраст, туманные воспоминания о дедах, которые при царе землю пахали, черная кость, круг знакомств, двухтумбовый стол на работе, жалованье, звание младшего сержанта запаса, штамп в военном билете, три коммуналки на выбор, две сотни наличными и билет в Крым, и нечего мне терять, кроме этих двух сотен и билета, и я слезаю с верхней полки и говорю "Четвертому", что его место как раз на курорте, только не в Крыму, а там, где переплавляют и перековывают, шлифуют и доводят, потому что каждый должен быть на своем месте, и в это я тоже свято верю, а труд делает человека свободным, и если товарищ Четвертый, товарищ Данко, товарищ Сталкер хочет вести нас в царство свободного труда, то пусть сам идет при этом впереди. И тогда я с радостью приколю на грудь у самого сердца значок с профилем товарища Сталкера, товарищ не возражает?

Товарищ не возражает. Товарищ молчит. Его руки дрожат, его лицо в обрамлении седых волос краснеет, а на глаза наво-

рачиваются слезы. И мне тоже жалко его до слез, потому что он совсем старый, потому что нет ничего мучительней, чем слезы стариков.

Он хочет что-то сказать, но никак не может найти слов, он словно ищет их дрожащей рукой в воздухе, взглядом по сторонам, и находит — вот что он находит:

— Я тебе в отцы гожусь...

Нет, вы не годитесь мне в отцы, товарищ Сталкер. Да, Родина — моя мать. Нет, я не знаю, от какого отца понесла она. Но не от вас.

За окном купе тянутся поля и облака — это Мать, покинутая Отцом, там, за окнами... Пей, старик, плачь, старик, становись пьян, становись безобразен, я не сделаю тебе замечания за распитие в общественном месте, пусть эта водка будет той запоздалой медленной пулей, которая со скрежетом ввинчивается в твое тело все эти годы. И от этой пули тебе не уйти...

Тянутся за окном поля и облака, и поезд бежит, шипя и бархатно погромыхивая, по блестящим рельсам. Двое из действующих лиц уже произнесли свои роли, кто заговорит теперь? Может, "Третий" что-нибудь скажет? Он молчит, он давно молчит, сидя там, на нижней полке: лицо румяное, волосы светлые, коричневый пиджак, значок...

Сон, благодатный сон. Я вижу берег реки, восходящее солнце. Я вижу строку стихотворения: ПРИЛЕГЛА НА БЕРЕГ РАЗМЫТЫЙ ГОЛОВА РУСАЛКИ БОЛЬНОЙ. Я вижу эту русалку, я подхожу к ней: это — мертвый, он лежит у самой насыпи, а паровоз тянет эшелон мимо него, дальше, через тундру. Снег ярко блестит, солнце низко над горизонтом, страх высасывает сердце, эшелон изгибается железной змеей, и никак не проснуться... Зажмурь глаза сильнее, закричи, позови мать, может быть, тогда всё кончится, и рука найдет под боком плюшевого медведя...

Под рукой шершавая тисненая обивка стенки купе. Поезд идет, все также шипя, постанывая и погромыхивая. Солнце за окном опускается к самому горизонту — кончается день, первый день нашего пути. Храп и духота царят во всем вагоне: спят пассажиры, умаявшись за этот первый день. Не спит только ма-

шинист, он ведет поезд, ведет его в солнечную страну, в дол-
гожданный Крым. Храп и духота здесь, храп и духота там... Спи-
те спокойно, дорогие пассажиры, машинист знает дорогу. Вы
славно трудились и боролись, и всесоюзный курорт готов при-
нять вас в свои объятия...

Я стою у окна в коридоре, освещенном тусклыми дежурными
лампами и высматриваю в непроглядной тьме поля и облака. Ря-
дом, у соседнего окна стоишь ты. И я обращаюсь к тебе на "ты",
но уже вслух. Можно, я всегда буду обращаться к тебе на "ты"?

ДА, ДА, МИЛАЯ, Я ВСПОМНИЛ ТЕБЯ: ЗВЕЗДНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ
НОЧЬЮ ТЫ СПУСТИЛАСЬ С ГОР В ДЕРЕВНЮ, ГДЕ Я ТОРГОВАЛ АМУЛЕТА-
МИ, А МОНАХИ В ТУ ЖЕ НОЧЬ ПОДОЖГЛИ МОНАСТЫРЬ И ОСНОВАЛИ В
СОСЕДНЕЙ ПРОВИНЦИИ НОВЫЙ, А ПОТОМ ПРОШЛО ЕЩЕ ДВЕСТИ ЛЕТ И
ПОД ОКНАМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ КВАРТИРЫ ПЕЛИ "БРОНЯ КРЕПКА И ТАН-
КИ НАШИ БЫСТРЫ", НО ПЕСНЯ БЫЛА ПЛОХО СЛЫШНА, ПОТОМУ ЧТО РУМЯ-
НЫЙ БЛОНДИН В ЛАДНОЙ ГИМНАСТЕРКЕ, ТЯЖЕЛО СОПЯ, ВЫКРУЧИВАЛ
МНЕ РУКУ И ОТНИМАЛ ПОДСВЕЧНИК. НИКОМУ ОБ ЭТОМ НЕ РАССКАЖЕМ,
НО И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ: МОНАСТЫРЬ, ГОРНЫЙ РУЧЕЙ, ТОЛЧЕННЫЙ
НЕФРИТ, КОЛОКОЛЬЧИК, ГИМНАСТЕРКУ, ЭШЕЛОН, ВСПЫШКУ, ВСПЫШКУ,
ВСПЫШКУ, ТВОИ ГОРЯЧИЕ РУКИ И ВСЕНОШНЫЕ ЛАСКИ В ГРОХОЧУЩЕМ
ТАМБУРЕ — СПИТ ВАГОН, СПИТ ПРОВОДНИК, СПЯТ ПАССАЖИРЫ И БУДУТ
СПАТЬ ДО УТРА.